

ГРИГОРИЙ МАРК

СУДНЫЙ ГОД

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ

МОСКВА 2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г83

Марк, Григорий.

Г83 Судный год / Григорий Марк. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 352 с. — (*Городская проза*).

ISBN 978-5-17-134274-6

Главный герой романа, бывший гражданин СССР, живущий в Бостоне, попадает в сложную, практически криминальную ситуацию: его обвиняют в преследовании женщины, хотя преследованию со стороны американского закона и таинственных незнакомцев, кажется, подвергается он сам. Однако в это же время в его жизни возникает страстная, романтическая любовь...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-134274-6

© Текст. Григорий Марк, 2021
© Оформление.
ООО «Издательство АСТ» 2021

Пролог. Поминки-отвальная

*(Медное озеро, недалеко от Ленинграда,
18 июня 1985 года)*

Слишком многое связывает... Неразорванная пуповина... И вместо того, чтобы думать о будущем, я, Ответчик, снова возвращаюсь в прошлое... Время останавливается и начинает очень быстро лететь назад и вверх, к самой высшей точке моей первой жизни. Когда до конца ее оставалось всего три недели. К лужайке на берегу Медного озера.

Идти от шоссе пришлось больше получаса. Шли, нагруженные бутылками, раздвигая густой частокол лучей, по прозрачному редколесью среди белобрсых лопухов, хвощей, крапивы и невысоких кустов, трепещущих молоденькими листьями. После длинной городской зимы ощущая всем телом их клейкую пьянящую силу. Веселые стайки танцующих бликов путались под ногами.

Дорожка петляла среди нарядных берез, гордо выпячивавших свои стволы, туго запеленутые берестяными грамотами с письменами новой весны. На которые мы не обращали никакого внимания. Потом вдоль подернутой свеченьем речки, которая плавно струилась по черным солнечным камушкам. Обнимала блескучими излучинами валуны, обросшие мхом, расцветала бело-зелеными кувшинками в заводях. И журчанье речки слышалось прерывистой речью — маленькой, захлебывающейся речью, — совсем недавно воскресшей из зимней спячки воды. словно ей не терпелось рассказать, пробормотать хоть частичку того, что пережила в ледяной тюрьме за эту ужасную зиму, и теперь вот наконец появились слушатели. Но они ее не замечали. А на другом

берегу, отвечая ей, переливались серебристой россыпью далекие птичьи голоса.

Спринтер, как всегда, вырвался впереди всей команды, лихо сбивая палкой папоротники и лопухи по краям тропинки и напевая что-то мужественное из Высоцкого.

Аня, женщина моего брата — а всего полтора года назад моя женщина, — с лицом, татуированным тенями листьев, и я брели в самом конце, не разговаривая друг с другом. За неделю до этого в игре, где ставкой была вся моя жизнь, после двух самых трудных своих лет получил наконец при новой раздаче единственную выигрышную карту. Называлась она очень даже скромно: виза выездная обыкновенная. Но уж обыкновенного-то в ней ничего не было... За все эти два года даже с работы не выкинули. Жил с открытыми глазами и при этом кантовался дуриком у себя в Электронмаше. Отсадили в отдельную комнату, никаких заданий не давали и запретили разговаривать с другими сотрудниками. Получал себе отказ за отказом. И, когда был уже на грани полного нервного истощения — еще немного и совсем бы дошел, — неожиданно выпустили... Тогда я собирался ехать в Израиль...

Изредка я заглядывал в подурневшее, осунувшееся лицо Ани. Их общая со Спринтером жизнь росла уже, наверное, месяцев шесть внутри ее. Невестка на сносях. С неподвижной ладонью на довольно заметном животе. (Наверное, в это время Андрюша бил изнутри?) Последняя и самая важная победа моего брата в нашем вечном соревновании-войне. Да и теперь-то встретились только потому, что были уверены — больше никогда не встретимся.

Еще до того, как уеду, она выйдет за брата замуж. (Может, потому, что тот часто разговаривал с ней в постели. Хотя и говорить-то, я уверен, им было не о чем. Но Спринтера хлебом не корми...) Пройдет почти пять лет, пока мы с ней встретимся снова... Впрочем, в это утро никто, кроме меня, о будущем не думал.

Расположились на лужайке, окруженной невысокими кустами, возле озера. Бурая кромка пены сверкала

веселым утренним солнцем. Вдоль берега в темной воде вились коряги, ветви, стволы деревьев, по которым пробегала рябь, плескались цветные пластинки. Одинокая лодка без гребца и без весел покачивалась между тучами в зыбком купоросном зеркале, и над ней, как одноглавый герб несуществующей страны, впечатанный в толщу балтийского неба, парила, распластав свои крылья, неподвижная синяя птица. И казалось, что на ее длинном черном хвосте проступали какие-то цифры.

Старая парализованная осина — я помнил ее с прошлого года, — калека с черной кожей и искривленным позвоночником, радостно зашелестела нам навстречу живой половиной, затряслась патлатой головой со свернутыми в трубочки темными листьями-бигуди. Где-то ее внутри прятался маленький ветер. Каждым выжившим листиком она молила потрогать, погладить. В старости деревьям тоже не хватает теплоты. Но я, Ответчик, был слишком погружен в себя.

Расстелили клеенку, бутылки расставили, открыли консервы. Жужжащие обручи мошкары появились над головами. Уселись, неторопливо раскуривая в ладонях предстоящее молчание. И делали вид, что все как обычно. А моя неуклюжая к ним благодарность смешивалась с беззаботным нетерпением. Нетерпением перед тем, что наступит всего через несколько дней. Так, наверное, в последний момент перед тем, как отдать Богу душу, верующие, забывая о прошлом, ожидают вступления в подлинную жизнь.

Вокруг окропленные солнцем кусты, чуть похрустывая скрюченными узлами, лениво расправляли набухавшие тяжелыми соками ветки, выдавливали из себя зеленые ворсистые узелки почек. Промерзшая чернота, накопившаяся в капиллярах, перепонках, волокнах за длинную зиму, высветлялась, проступала наружу тугими припухлостями. Метались в клевере пригретые солнышком деловитые мухи, шмели.

Аня ничего этого не замечала. Добрый дух совсем недавно оживших кустов, молодой неумный ветер, густо пересыпанный треском кустарника, участливо суетился около нее. Она сидела, запрокинув голову

и сосредоточенно прищурившись, точно пыталась навести на резкость застывшие в зеленых глазах слезы. Легко шевелились волосы от ветра. И с каждой минутой ребенок, которого я не должен был никогда увидеть, маленькими толчками рос в ее теле. Над головою ее на невидимых нитях качались, извиваясь, нежные бледные гусеницы. Цветная паутина переливалась в прозрачных крыльях стрекоз. В траве, только что расщепившейся на миллионы травинок, в каждой из которых дышала проснувшаяся земля, в желтых чашечках ромашек, между узорчатых теней ветвей таял, сворачивался в крохотные радуги необычайно чистый утренний свет, еще не полностью отделившийся от тьмы.

Чьи-то огромные красные руки бросали хворост в огонь, с ворчливым кряхтеньем ворочавшийся с боку на бок. Оторванные ветром искрящиеся куски пламени хлопали над костром. И видно было, как подбираются к расстеленной на траве клеенке ветвистые тени в развевающихся дымных одеждах, как подминают они на своем пути белые лепестки ромашек, переплетенные запахи вереска, клевера и гнили болотной. Как беззвучно качаются они в синем мареве сигаретного дыма, смешанного с дымом костра.

Тостов никто не произносил. Просто молчали, осененные прозрачным листовным ликованием, неспешно стекающим с кустов в траву. Когда долго глядишь на огонь, говорить не хочется. Пили, не чокаясь, — кто вино, кто коньяк — из граненых стаканов, смотрели в костер, словно что-то очень важное в нем сейчас догорало, превращалось в никому не нужную золу.

Они почти ничего не знали о том, как я жил, подвешенный за ребро, уже почти два года. Тогда еще никто из них не думал об отъезде. (Странно сознавать, что троих уже нет на этом свете сегодня.) Не знали они ничего о поправке Джексона. О подпольных встречах с иностранными корреспондентами. Не имели никакого представления о фольклоре отказников. Все это было впереди для них. Но хорошо понимали: то, что со мной через пару недель произойдет, обратить назад уже будет нельзя. Время, общее для них и для меня, заканчивается. И даже

Спринтер сидел сейчас, опустив глаза, возле Ани совершенно растерянный. Скрюченная лапа осины лежала у него на плече. Казалось, он произносит длинную безмолвную речь-оправдание перед тем, как проститься со своим уезжающим в другой мир братом-близнецом, а парализованная осина пытается его успокоить.

Я быстро оглянулся по сторонам — и, точно острым напильником, себе по душе полоснул тугой воспаленною нежностью почек, покачивавшихся на ветках... Не так-то легко будет привыкать к новой стране...

Ветер весело носился по лужайке, раскачивал еле слышное птичье пение, перемешивал блики и радуги в росистой траве. Перемешивал запутавшиеся между веток обрывки неба, края приплясывавших листьев, просвечивавших кровеносной белизной. Для них белокровие болезнью не было. Контуры каждого листочка тщательно прорисованы и обведены — нижняя часть обведена даже с нажимом — жирной солнечной тушью. Махонький обрывок ветра, усыпанный острыми искрами, парил над костром. Искры легко касались друг дружки, замирали и снова разбегались, будто играли в свои сверкающие багровые пятнашки. Усатые бабочки, стрекозы, мотыльки, ошалевшие от разлитого вокруг солнца, чинно рассеялись по веткам, наблюдали за игрой.

И я, по горло увязший во всех этих шелестах, краках, запахах, знал, знал всем своим существом, что это надо запомнить. До мельчайшей детали. До прозрачных с красными прожилками крыльев бабочек, аккуратной сложенной кверху. Не придумывая ни единого кружка, прочерченного золотыми чернилами на спине у божьей коровки, неторопливо ползущей сейчас по моему рукаву. Запомнить, как выглядят на траве тени ветвей парализованной осины — подрагивающие иероглифы ее прощального послания. Как гладит она тысячью скрюченных листьев располосанное солнцем небо у меня над головой. Запомнить, как звучат эти невнятные слова, слова расставания на языке деревьев, певучем изводе карельского леса, в котором только одни гласные. Чтобы потом, в совсем другой стране, звучание это можно было оживить.

Мое тело находилось здесь вместе с друзьями, с братом, с беременной чужим ребенком женщиной, среди живых кустов и радуг, рассыпанных в солнценосной траве на берегу тихо мреющего в утреннем свете озера. А сам я, стайер, отбившийся от стаи, отбившийся от своей первой жизни, поднимался, восходил в горы, которых не было, над нижним краем небосвода. И веселая кровь билась в висках.

Тень, становившаяся все короче, забежала вперед, оставившись, терлась об увязавшийся за мною ветер — теперь он был явно в мою сторону — и опять суетливо петляла под ногами. А ветер, вдруг ставший пронзительным и холодным, все толкал и толкал в спину.

Наконец достиг перевала. Там, где начиналось небо, далеко на юге приоткрылась полость в тучах, из которой исходили косые лучи. Она медленно расширялась, и, в первый раз за последние два года вдыхая полной грудью разреженный горный воздух, я уже видел внутри ее ребристое море багровой черепицы. В нем покачивались маленькие тарелки антенн, короткие черточки кирпичных труб с вьющимся из них белым дымом, аккуратные двухэтажные домики, выпирающие купола синагог и церквей, холмы, проступающие друг сквозь друга, переплетающиеся сотней незнакомых мелодий.

... достигнув перевала, продолжай восхождение... к себе, от земли своей, от друзей своих, от дома своего... в пустыне пути приготовьте... и время жизни моей пошло...

Я, стайер, бежавший всю дистанцию вместе с теми, кто сидел сейчас внизу около костра, вырвался вперед на финишной прямой.

Между тем еще одна тень появилась у меня — длинная тень, неожиданно выросшая за спиной. Она упрямо цеплялась за камни, тянула назад и быстро росла. Горячий свет из будущего сталкивался, переплетался с обманчивым светом озера, по которому плыли серебристые отражения. И столб из двух перекрученных светов превращался в гигантский гриб с гофрированной ножкой. Он поднимал стремительно и бесшумно сгрудившиеся каменные тучи с промоинами ярко-синего неба. Выгибал, выдавливал кверху низкое небо. Горизонт сворачивался

в спираль, и в центре ее находился я сам. Все, что я видел, было связано теперь единым ритмом, прерывистым ритмом моего длинного дыхания, раздвигающего голосовые связки. Ускользящим и проступающим снова, всеобъемлющим ритмом моей начинающейся новой жизни.

Заставил себя оглянуться. Поле зрения опять сфокусировалось в маленькую лужайку на берегу озера посреди бесконечного зеленого кружева. В разлившемся, шелестящем *листвии*, в самой его глубине вездесущий ветер, успевший протянуться сквозь две моих жизни, оторвал кусочек огня и весело чиркнул им по траве. Сигнальный костер для спускающегося с неба парашютиста? И тогда сквозь впервые за много лет набежавшие слезы — от дыма? от того, что никогда больше не увижу ни одного из них, сидящих здесь, внизу? — я снова разглядел посреди блеклых кустов красно-белый квадратик клеенки, мерцающий строй изумрудных бутылок. Затерянный в тускло-зеленом, словно подсвеченном, море травы утлый кораблик-карасс своих друзей, близнеца-брата, Аню, себя самого и свое новое одиночество. Одиночество, которое, как побитая собака, крутилось рядом, доверчиво и виновато заглядывая в глаза друзьям. И белое пламя костра билось на ветру между нами. *(Все расстающиеся говорят торжественно, как во хмелю...)* Разглядел, чтобы никогда не забыть, фигуры близких — тех, кто остаются в России, и тех, кто уехал давно, — неподвижно сидевших с искрящимися обручами мошкары над головой и с поднятыми вверх гранеными стаканами. Их родные лица было уже не разобрать, но я знал, что они сейчас справляют поминки, поминки по мне, Гришке Маркману, под заунывную песню комаров и салют пылающих веток на берегу Медного озера. И я, будто ведра с водой из глубины колодца, одно за другим неторопливо вытягиваю из себя, выплескиваю наружу тяжелые слова прощания. А вокруг молчат единственные близкие мне люди. Свет, последний свет моей предыдущей жизни, понемногу из них уходит. Уезжать мне надо было любой ценой. И цена в два года не казалась слишком высокой. Но вот то, что их больше не увижу...

Лужайка с застывшими возле костра людьми становится такой маленькой, что вся уже целиком легко умещается теперь в памяти.

Когда-то отплывавшие за границу эмигранты брали на корабль огромные клубки красной пряжи. Родственники, оставшиеся на берегу, держали концы этих нитей, и связь продолжалась, подпрыгивали еще клубки, нити еще подрагивали, когда они уже давно не видели друг друга, и пространство вместе с пряжей разматывалось между ними. И все, что их еще связывало, превращалось в эту тоненькую нить. Мой клубок почти весь размотан. Мокрая, туго натянутая в море травы нить между мною, Ответчиком, и Спринтером, нить, которая двадцать пять лет прочно связывала нас, начинает тихонько звенеть от ветра. Еще один шаг — и конец ее оборвется в руках у меня.

1. Синяя птица

(Бостон, 22—23 октября 1991 года)

Сегодня Лиз задержалась у меня намного дольше обычного. Ричард в суде. Кого-то там обвиняет. Мы сидим в постели, и вокруг нас тонкое кружево пропитанного любовью запаха, выставившее всю спальню. Моя блаженная «сигарета после». Маленькие вещи, которые становятся частью очень важного. Уже появляется свой ритуал. До сих пор еще осторожно знакомимся друг с другом. Рассказываем, рассказываем о себе.

— Летом мы жили целый месяц у бабушки на Кейп-Коде. У них дом там прямо на берегу океана. По вечерам, когда мужчины отправлялись в бар, у нее собирались подруги. Играли в карты или уже поздно ночью устраивали спиритические сеансы. — Лиз вздыхает, словно медленно нанизывает слова на невидимую ниточку своего дыханья. И кажется, что душа ее — маленький серебристый зверек — выглянула на миг из зрачков, быстро оглядела меня и сразу спряталась снова. — Бабушка к этому относилась серьезно и сердилась, когда мама или отец пытались шутить. За несколько месяцев до этого умер Джейкоб, ее муж, который был священником сведенборгианской церкви здесь, в Бостоне. И она никак не могла с этим смириться. После смерти Джейкоба отношения его с бабушкой стали еще более близкими. Меня туда, конечно же, не пускали, и на все мои вопросы она не отвечала. Вот ты представь, мне ведь всего двенадцать, а здесь люди, уже много чего испытавшие в жизни. Старые, короче говоря, люди. И они не должны были бы играть ни в какие игры, как мы, дети. А они словно бы играют. Играют молча и совсем серьезно. Сидят эти

дамы с высокими прическами на высоких стульях — у бабушки в доме все вообще было старым и солидным, пахло там тоже как-то особенно, — сидят они в темноте с закрытыми глазами. Лица торжественные, бледные. Брови упрямо сведены. Положив свои маникюрные пальцы на специальный прибор, который был у них для этого дела. Доска Уиджа. Я иногда подглядывала, но даже смотреть было страшно. На следующий год бабушки не стало... А я, знаешь? Хотела понять, кого эти старухи дурили? Самих себя? До сих пор не понимаю... Думала даже сама попробовать. Но все не с кем было... Потом читала Метерлинка, Сведенборга...

Удивительно, сколько суеверий до сих пор живет в семьях высоколобых новоанглийских браминов. Наверное, они и в телепатию верят, и в колдунов-целителей, и в ясновидение. И еще много во что...

Судя по тому, как быстро она мигает, Лиз о чем-то лихорадочно думает сейчас. Наверное, все еще вспоминает полутемную террасу со старухами, которые, широко раздвинув руки, медленно двигают длинными белыми пальцами по светящемуся диску. Я осторожно закрываю рукой ее лицо. Ресницы мягко трепещут в ладони. И в этот момент мне в голову приходит мысль, которая может ей понравиться.

— Слушай, а хочешь прямо сейчас вот попробуем? — Она нерешительно улыбается, и это вдохновляет. — Чего-нибудь нового узнаем с того света? Одевайся. Пока ты раздета, у нас точно ничего не получится. Буду отвлекаться.

Взял в кабинете большой лист картона, написал по кругу английские буквы и арабские цифры. Положил вверх дном блюдце и сделал фломастером на нем риску. И вот уже мы напротив друг друга за столом в темной кухне. Положив пальцы на блюдце, ждем.

Лиз сидит совсем неподвижно и не обращает на меня внимания. (Неужели она относится ко всему этому серьезно? Я же хотел только...) Продолжается это уже довольно долго и начинает надоедать.

Но вдруг блюдце начинает подрагивать, а потом медленно вращаться! Никогда бы не поверил, но ведь собственными глазами вижу! Риска стоит у В. Хватаю карандаш, записываю и снова кладу пальцы на блюдце.

Теперь риска движется гораздо быстрее. Следующая буква — L. Когда блюдце наконец полностью останавливается, будто наткнувшись на границу чего-то запретного, у меня записано BLUEBIRD21273448089...¹ Что еще за синяя птица? Бред какой-то!

— Давай еще раз! — Может, она меня разыгрывает и незаметно управляет блюдцем?

Снова в точности то же самое: BLUEBIRD21273448089! Совсем удивительно! Я бы почувствовал, если бы она делала это нарочно. Когда включил свет и показал две полностью совпадающие записи, она явно испугалась. Да и я тоже, честно говоря, был сбит с толку.

— Все! Не хочу больше этими глупостями заниматься! — Сбросила картон на пол и встала. — Это нехорошо!

Подошла к зеркалу, сдула упрямую прядь. Глаза, окаймленные тушью, стали неподвижными, задумчивыми. Чужая женщина, которая глядит на нее, кажется гораздо старше, гораздо решительнее, чем Лиз. Замечает, что я тоже рассматриваю ее, и проводит ладонью по поверхности. Встряхивает головой, рассыпая вокруг каштановое сияние, поворачивается ко мне. Быстро чмокает в щеку и убегает.

Уже больше часа верчусь в постели среди запахов Лиз, перекалдываю холодной стороной подушку под пылающую щеку и злюсь, что никак не удастся уснуть.

Город за окном все глубже погружается в мокрую темноту. Перед глазами снова всплывает сквозь дождь кусок картона и синяя птица BLUEBIRD, на хвосте которой, изгибаясь, переливаются десять цифр: 21273448089. Отчетливо вижу каждую из них. И тут я вспоминаю, что 212 это код Нью-Йорка! Это может быть просто номер телефона! Хотел немедленно бежать и звонить. Но двенадцать ночи. Мало того, что история совершенно нелепая, так еще будить кого-то. Уж точно посреди ночи разговаривать не станут.

Утром не выдержал и все-таки позвонил.

— Але-е? — старенький, немного прерывающийся женский голос.

¹ Blue bird — «синяя птица» (англ.)

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Грегори. Пожалуйста, не вешайте сразу трубку. Я хотел только задать вам один вопрос...

— Какой вопрос, Грегори? — Мне показалось, что она нисколько не удивлена, даже ждала этого звонка.

— Понимаете, мы вчера развлекались...

— Рада за вас... Я вот давно уже... И какое отношение ваши развлечения имеют ко мне?

— Ну, знаете, вертели блюдце в темноте и записывали буквы и цифры, возле которых оно останавливалось.

— И что? — старушечий голос немного напрягся.

Я чувствую себя полным идиотом, но бросать разговор на середине не хочется.

— Понимаете, сначала появились буквы V-L-U-E-V-I-R-D, bluebird, а потом десять цифр. И это повторилось два раза. А цифры совпали с вашим номером телефона. Ну я и решил...

Тяжелое молчание на другом конце. Трубка переполняется захлебывающимися, перебивающимися друг друга вздохами, неразборчивыми бормотаниями, всхлипываниями. Это длится минут пять, не меньше. Я уже хотел вешать трубку. Наконец снова появляется ее уже гораздо более уверенный голос.

— Это Норман, мой муж! Наверное, не мог раньше... Ведь я там играла Мэтил!

Она произносит это имя по-английски — «Мэтил», и я не сразу понимаю, о чем речь.

— Кого вы играли?

— Я играла Мэтил! На Бродвее ставили «Синюю птицу», и я была занята в этом спектакле! В главной роли. Там мы познакомились с Норманом! Он приходил каждый день, дарил цветы! А через полгода поженились, но вскоре разразилась война! — Она делает паузу и громко сморкается. — Ах! Господи! Что я вам все это рассказываю! Вы, наверное, из какой-то другой страны, у вас такой сильный акцент! Норман писал письма с фронта, и каждое письмо начиналось «Моя драгоценная синяя птица».

— Вы меня, пожалуйста, извините...

— За что? Я знаю, что это он! Слава Богу, молодой человек, что вы догадались позвонить! Я вам так

благодарна!.. На прошлой неделе он ушел. Рак легких... И мы договорились... Я так скучала по нему, так ужасно скучала! Каждый вечер просила Бога, чтобы дал встретиться, хотя бы во сне! Хоть на минуту!.. И вот наконец вы... Никогда не сомневалась, что так и будет!.. Видно, пора уже собираться... — На секунду мне кажется, что все это она произносит уж слишком легко, но я тут же прогоняю эту недостойную мысль. — Молодой человек, вы должны дать слово. Никто не должен знать о нашем разговоре. От этого зависит моя жизнь. То, что от нее осталось... Вы обещаете?

— Ну конечно, — бормочу я, уже совершенно обалдевший.

— И пожалуйста, никогда больше не звоните по этому телефону! Я вас прошу... Извините, сейчас мне трудно говорить. Еще раз спасибо! Вы не представляете, как много вы сделали для меня.

Я продолжаю сидеть, держа в руке гудящую телефонную трубку. Тупо смотрю на нее и пытаюсь понять, что произошло... Мозг работает на полных оборотах, но вхолостую...

Миллионами маленьких сосущих ртов хрипит, задышается за окном цветной ливень, мечет громы и молнии на притихший город... Ощущение чего-то очень тяжелого и очень неприятного на душе. И почему-то огромная усталость... Пока ничего не прояснилось, Лиз об этом разговоре говорить не буду. Еще начнет думать, что у меня не в порядке с головой.

На следующий день страшно хотелось позвонить снова вдове Нормана. Но ведь дал слово. Да и нельзя же столько мучить, как видно, совсем старую незнакомую женщину. Для нее шок был намного сильнее, чем для меня... Наверное, есть какое-то простое объяснение.